

## РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

*Доклады на 13-й Кузнецовской конференции  
Института мировой литературы\**

**ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ**  
(Воронеж)

### **ВЗГЛЯД ИЗ ДРУГОЙ ЭПОХИ**

*Статья Татьяны Глушковой “Через несколько лет...” и поэзия Юрия Кузнецова*

Прошло почти тридцать лет с того времени, когда стихи Юрия Кузнецова представлялись некой инородной частью русской лирики. Причём определение “лирика” подразумевало среди прочих качеств также и задушевность, расположенность автора к читателю, разговор на “всем понятном языке”. За эти годы в жизни русского человека произошли невообразимые прежде изменения – рухнула советская государственность, ушли из практического ежедневного обихода такие понятия, как справедливость, честность, ответственность. Конечно, эти свойства русского характера сохранились в реальности, но теперь они выглядят почти маргинальными на фоне пустого резонёрства и фактического цинизма чиновного и делового сословия, неискоренимой пошлости телевидения, художественного сговора влиятельных персон внутри самой культуры, когда грязное и порочное стало называться интересным и творческим, а очевидно тупое – интеллектуально продвинутым. Сместились координаты, в которых ранее рассматривалась поэтика Кузнецова, и русский ум потребовал смысла: где мы находимся во времени? Каково пространство, в котором живёт современный человек? Что хранит наша память? Какие святыни нам дороги? Что сулит нам завтрашний день? Сильна ли ещё русская душа? И неожиданно давние стихи ушедшего поэта переключаются с новой действительностью, помогают нам понять себя и поддерживают в нас ещё тлеющую волю к жизни.

За последние полтора десятка лет появилось много работ о самых разных сторонах поэзии Юрия Кузнецова. Почти все размышления начинаются в какой-то степени с чистого листа – и в этом есть своя, очень верная логика, уводящая исследователя от полемики с антагонистами, которые остались в прошлом. Между тем, среди прежних литературно-критических текстов можно найти суждения на редкость точные, и они помогут нам понять некоторые аспекты художественной мысли поэта. В первую очередь, стоит обратить внимание на большую статью Татьяны Глушковой “Через несколько лет: “Русский узел” в стихах наших дней” (1983–1985). Главным тезисом здесь является

\* Публикуются в сокращении.

понятие “безотцовщины”, родового одиночества – это трагическое состояние коснулось в литературе почти всех “детей войны” и отразилось, так или иначе, в их произведениях.

Касаясь ряда имён и стихотворений, Глушкова ведёт речь, прежде всего, о творчестве Юрия Кузнецова и, в отличие от многих критиков, выделяет в “безотцовщине” главное: ментальное и душевное устройство поэта. Такой угол зрения принципиально важен, поскольку у большинства иных стихотворцев, испивших в детстве ту же горькую чашу одинокого детства, лирическая ткань насыщена, главным образом, деталями и **переживаниями** автора, образительными средствами вовлекающего читателя в круг своих чувств и предметов, окружавших в давние годы юного героя. В результате возникает эффект **сопереживания**, без которого не может существовать поэзия, однако мысль, соединяющая времена, – нынешнее и прежнее – остаётся непроявленной. Татьяна Глушкова, напротив, высоко ценит этот ракурс поэтического сюжета, скрепляя его с проблемой историзма. При таком подходе отчётливые черты ушедшей поры соединяются с канвой стихотворения, и оно автоматически становится дополнительным (теперь уже литературным) свидетельством русского лихолетья.

Однако всякое событие, тем более грандиозного масштаба, производит в человеке некую переустановку ума и души, его “Я” меняется, обретает новые свойства и утрачивает некоторые старые. В обиходе мы называем это душевным опытом, но на самом деле внутри нас возникает какой-то ещё не ведомый инструмент для проверки настоящего мгновения и разгадки будущего хода вещей. С подобным душевным переустройством, без сомнения, связано становление поэтического мира Юрия Кузнецова. Поэт словно бы обрёл невиданное прежде зрение и в картинах реальности, отодвигая насыщающие глаз подробности, стал видеть вторую и третью глубину слов и движений, людей и явлений, народов и мистических существ. Двигаясь от кроны дерева вниз, он созерцал его корни, погружаясь глубже, минуя почву, наткнулся на базальт, раздвигая материю, проваливался в какие-то непостижимые бытийные глубины, в кои и творилась, причудливо меняясь, судьба России – тяжкая, горькая, но и славная, высокая духом. Можно сказать, что перед нами возникает образ визионера, владеющего поэтическим слогом. Для отечественной поэзии в подобной фигуре нет ничего запретного, большие и малые русские стихотворцы обладали таким даром и ценили в себе способность созерцать “подкладку” происходящего, преодолевая плотную границу очевидного.

Среди “детей войны” Юрий Кузнецов – один из немногих поэтов-визионеров последнего времени, и потому его стихи столь не похожи на произведения собратьев по детскому несчастью. Сюжеты Кузнецова не совпадают с “объективным” историзмом, но воссоздают перед читателем картины, которые, по логике рассуждений Татьяны Глушковой, можно назвать *историзмом гипертрофированным*. Вот только сегодня вокруг нас кипит совсем другой мир, так не похожий на советскую обыденность 1980-х, и уже он порой чудовищно аукается в движениях лирического сюжета прошлых стихотворений поэта.

У Юрия Кузнецова конфликт как бы *вынут из реальности* и подвергается сомнению весь её осязаемый контекст, тогда как у всех иных авторов того же поколения конфликт лирической истории *опрокинут в реальность*, что почти неизбежно переносит произведение в ограниченное смысловое пространство стихов-свидетельств. В финале стихотворения “Бывает у русского в жизни...” (1974) присутствует строка, в те годы не имевшая того программного значения, которое ныне столь наглядно и расшифровывается как пророчество или *пророчество*: “Идти мне железным путём // И зреть, что случится потом”.

У Глушковой, пожалуй, впервые в послевоенной литературе мы сталкиваемся с отрицательным интонированием слова “безотцовщина”. В нём приглушена сострадательная доля смысла и определённо акцентирована отрезанность героя и автора от родового корня. Они, кажется, не продолжают прошлое и не связывают его с будущим, но живут только горьким настоящим и мистериальным ощущением грозного завтрашнего дня. В их характере есть что-то странническое, когда всякое место представляется временным, а всё постоянное живёт только в памяти, оставаясь позади как невозвратное.

Тут можно вспомнить чрезвычайно важное замечание Юрия Кузнецова из его статьи “Воззрение”: “Человек в моих стихах равен народу”. И тогда жестокие этапы русской истории окажутся яркой иллюстрацией попыток самых

разных сил отнять у нашего народа его отцовство, отделить корень от ствола и засушить родовое древо. Если помнить об этих обстоятельствах и относиться к ним всерьёз, стихотворения Кузнецова совсем не покажутся “засушенными” в изобразительном отношении, а роковой гул, наподобие того, который слышался Блоку при работе над поэмой “Двенадцать”, станет и для нас предвестием разрушения мира. Нет здесь пренебрежения ландшафтом, пусть Кузнецов и упрекал Пушкина в излишнем пристрастии к пейзажной лирике. И способность поэта различать большие и малые голоса земного царства не отменяется рокотом вселенной, которая слепо убивает своих детей – простых и великих, плохих и самых лучших. Это упрёк Татьяне Глушковой в начале 1980-х, когда ничто как будто не предвещало апокалиптических изменений конца XX века и начала нового тысячелетия.

В “безотцовщине” Кузнецова можно обнаружить, на первый взгляд, непонятную иерархию значимости, как бы перевёрнутую последовательность. Бросая тени погибшего отца рыдающие слова: “...Ты не принёс нам счастья!” – сын оказывается с миром один на один. Его одиночество представляется неизбежным ещё и потому, что сын обрёл жребий поэта. В дальнейшем, уже без оглядки на минувший день и затянувшиеся на сердце рубцы, он движется по теснинам мира и пустынным пределам неземного пространства, где складываются судьбы и, словно неотвратимое бремя, сбрасываются на землю. Павший в сражении отец исполнил предназначенное каждому мужчине: подарил родной земле сына. И тот в настоящем времени первичен. Именно эта первичность в настоящем отодвигает фигуру отца в память, неявно подсказывая читателю: у Юрия Кузнецова всё происходит в настоящем, которое соскальзывает в будущее. Именно эти субстанции времени – настоящее и будущее – составляют для поэта понятие “всегда”, а прошлое, непостижимым образом передавая им свой вес, остаётся только зыбкой тенью.

Сопоставляя стихотворения Юрия Кузнецова с классическими примерами полноты изображения, чувства и мысли у Пушкина и Блока, Татьяна Глушкова называет едва ли не главный изъян поэта, который с избытком перекрывает все её аналитические упреки: “сальеризм”. Эта формула, по существу, отрицает наличие у художника творческого порыва, трепетной связи с реальной жизнью и способности переживать с окружающими людьми их беды и радости, красоту и ужас бытия. В размышлениях Глушковой такая беспощадная констатация присутствует как бы вскользь, не приводя исследователя к окончательному выводу: Кузнецов использует сухие схемы, в его строках нет сердца, детская наивность как первооснова художественного порыва ему совершенно не близка. Приведённые позиции могут быть, при желании, опровергнуты многими произведениями поэта. И потому в заключениях критика видна изначальная нелюбовь к стихам автора, совершенно не похожего на иных современных лириков, отчётливое нежелание, помимо отстранённых наблюдений, отметить достоинство или просто поэтическую удачу в его образах, сюжетах, сопоставлениях, нравственном устройстве нарисованного им мира. Умозрительность и порой герметичность ряда художественных высказываний Юрия Кузнецова не отменяют его стихотворений, написанных безыскусно и эмоционально (“Анюта”, “Кубанка”). А в поздних стихах и поэмах изобразительная основа точна и проработана мастером: рисунок и композиция безукоризненны, а цветочные пятна даны с замечательным пониманием меры.

Сегодня нет повода спорить с давней работой уже ушедшего от нас критика, тем более что и творчество поэта с его кончиной обрело свои границы. Анализ Татьяной Глушковой стихотворений Юрия Кузнецова подробен и внимателен, в нём есть очень верные движения мысли и серьёзные задачи, хорошо понимаемых исследователем. Вот только умозрительность, в которой обвиняет поэта автор статьи, оказывается свойственна самому критику. А нежелание поверить художнику, понять и принять хотя бы некоторые постулаты воссозданного им художественного мира свидетельствует о самодостаточности читателя и его фатальной неспособности выйти за пределы своего “Я”, раствориться в бытии и с великой осторожностью совмещать его контуры с видимой и противоречивой реальностью.

## ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ

(Москва)

### ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ РОССИИ

#### С улицы

В 1974 году волею судеб меня перенесло из семипалатинских степей в столицу нашей родины. К этому времени я перешёл на второй курс заочного отделения Литературного института им. М. Горького. Из писательской среды я знал только одного живого поэта, руководителя семинара Егора Исаева, который ещё не был Героем труда и Ленинским лауреатом, но у меня даже мысли не возникало обратиться к нему по поводу подходящей работы. Я просто собрался с духом и в один из ясных августовских дней вышел на поиск, как выходят в море или на охоту. На соседней улице располагалось издательство “Художественная литература”. Когда решение принято – робость остаётся за дверью. Я переступил порог отдела кадров, где отставной полковник по фамилии Спок, щадя моё простодушие, сказал:

– Ты хоть понял, куда попал? Здесь работают жёны и дочери, – последние слова он произнёс вразяжку и многозначительно, взведая указательный палец. – Они съедят тебя на десерт и при этом – очень быстро. А поезжай-ка ты на улицу Ярцевскую, – он написал адрес на квадратике бумаги, – там недавно открылось молодёжное издательство “Современник”. Если не возьмут – узнаешь хотя бы, где поэты свои первые книжки печатают.

И уже другой отдел кадров. Заведующая Галина Яковлевна ведёт меня в редакцию литератур народов РСФСР. В маленьком, с позволения сказать, кабинете сидел крупный мужчина с вьющимися волосами и оленьими глазами. Он курил болгарские “БТ” (он всегда курил только эти сигареты), выпуская дым через нижнюю губу.

– Юрий Поликарпович, вот вам кадр, поговорите с ним, – сказала заведующая и оставила нас наедине.

Мой работодатель был задумчив, если не мрачен. Он ведал в редакции литератур народов России поэзией, и как выяснилось позже, Юрия Поликарповича Кузнецова раздражала свёрнутая в трубочку газета “Советский спорт”, которой я невольно поигрывал. И пусть только в 1998 году Кузнецов признается: “Что не люблю, так это спорт, поверьте...” – поэт не был к нему расположен и в середине семидесятых.

Последовало несколько дежурных вопросов и односложных ответов.

– Кого любишь из современных поэтов? – вдруг спросил Кузнецов. “Первый раз тебя вижу, а ты просишь в любви исповедаться, – мелькнуло в голове. – Не на того попал”.

– Василия Фёдорова и Леонида Мартынова, – ответил я.

– Старые маразматика, – сквозь зубы процедил Кузнецов. – Ещё кого?

– Игоря Шкляревского.

– Мелкота, – вконец разочаровался Кузнецов. И давая понять, что разговор закончен, добавил:

– Завтра принесёшь свои стихи.

Это теперь ясно, что неведомая сила вынесла меня напрямиком на Юрия Поликарповича Кузнецова, у которого ещё не было знаменитых книг, но сам он совершенно чётко осознавал своё место в русской поэзии. И в каких бы дружеских отношениях мы порой ни находились впоследствии – язык не поворачивался назвать этого человека запанибратски по имени. Для меня он всегда был и остаётся Юрием Поликарповичем.

А тогда подумалось: “Ну и тип! Какие могут быть стихи! Да гори оно огнём!”

Однако на другой день я сидел в том же кабинете и с удивлением наблюдал, как терпеливо Кузнецов читает мою рукопись, раскладывая её на три стопки. Над одним из лирических откровений он хмыкнул: “Шла она, к другому прижималась, и уста скользили по устам...”

Наконец он хлопнул ладонью по одной из разложенных им стопок и объявил приговор:

– Это – Рубцов!

Хлопнул по второй:

— Это — твоё!

Третью он пренебрежительно и резко отодвинул от себя:

— А это отнеси в журнал “Юность”.

Потом глянул на меня столь торжествующе, как будто положил на обе лопатки:

— Иди, заполняй учётный лист.

Над этим листом Кузнецов раздумывал недолго, но остановился на имени жены — Рауза — и спросил:

— Татарочка?

Получив утвердительный ответ, впервые улыбнулся:

— Правильно. Восток надо покорять.

Я ещё не знал, что “покорённый” им самим Восток носит имя Батимы и родом из моего же термоядерного Семипалатинска.

### Лопсон

В советское время издательский процесс представлял собой отлаженный конвейер, и если рукопись по плану сдавалась 15 октября, то — кровь из носу — именно в этот день она должна была уйти в типографию.

В плане выпуска 1976 года стояла рукопись бурятского поэта Лопсона Тапхаева. Молодого автора открыл Юрий Кузнецов, дал высокую оценку и пообещал своему ровеснику, также потерявшему отца на войне, помочь с переводом.

При этом надо отметить, что Юрий Кузнецов никогда не переводил сборники целиком. Оставляя за собой “право первой ночи”, он отбирал философского плана стихи и — реже — поэмы. Если мы делали книгу совместно, то ко мне переходила любовная лирика и народные мотивы.

Но книга “Сияние в Саянах” Лопсона Тапхаева была нашей первой совместной работой.

Срок сдачи “Сияния” неумолимо приближался, вот уже осталось меньше полутора месяцев, а Юрий Кузнецов после выхода сборника “Край света — за первым углом” не только продолжал пожинать плоды славы, но и пахал, как Микула Селянинович. Тут было не до переводов.

В один из понедельников он позвал меня в кабинет и спросил:

— Переведёшь книжку Тапхаева за месяц?

Я задумался. Получалось почти по 50 строк в день. Ничего невозможного в этом не было, если бы не служба...

— Приходить на работу будешь только в понедельник с готовыми переводами, — упредил мой вопрос Юрий Поликарпович. — Буду читать. Может быть, и сам что-то переведу. А начальство спросит — я прикрою.

И началась страда! Если учесть, что первой моей дочке к тому времени и года не было, и жили мы в коммуналке на 20-ти метрах, то мои вдохновенные страдания, естественно, удваивались и происходили в ванной комнате, где я запирался вместе с подстрочными переводами. Через неделю я понял, глядя на Кузнецова, что Лопсон Тапхаев звучит на русском языке сообразно своему таланту. И моему тоже.

Но надо знать Юрия Поликарповича! Вот в одном из стихотворений прошла арба. Какая трава осталась под колёсами? Естественно — примятая.

Лицо Кузнецова искажается, как от зубной боли:

— Измятая! — почти кричит он.

— Почему?

Кузнецов делает движение, словно срывает пучок травы и, растирая его в ладони с такой силой, что вот-вот брызнет сок, выдыхает:

— Да потому что экспрессии больше!

Всё на той же арбе — то там, то здесь — появлялся старец: “мелькал в степи, как вечности частица”.

Кузнецов правит своим бисерным почерком: “мерцал в степи”...

И если таких правок в стихотворении было несколько, то из перевода неотвратимо наплывал кузнецовский слог. А что уж говорить о самих переводах Юрия Кузнецова. Он не был артистом, не играл в стиль другого поэта. Он всегда оставался Кузнецовым. Неповторимым.

Книга ушла в производство по графику. Юрий Кузнецов успел сделать всего один перевод. Зато какой!

*...На концах растопыренных пальцев  
 Отражённое эхо живёт,  
 И шершавую бездну пространства  
 Я читаю на ощупь, как крот.  
 ...Дома нету ни зги, ни просвета,  
 И на улице тоже темно.  
 Тьма души — как особая мета,  
 Ни стереть, ни уйти не дано.  
 ...Это солнце встаёт не с востока  
 И заходит не в этом краю.  
 Это солнце горит одиноко —  
 Я о нём свою песню пою.  
 В этой песне душа забывает  
 О печали, идущей вослед.  
 Как ребёнок, душа засыпает,  
 И далёкий ей брезжится свет.  
 ...В тесноте незнакомого мира  
 Я, как дятел, стучу по земле.  
 И со всем, что тревожно и мило,  
 Расстаюсь и встречаюсь — во мгле.  
 (“Монолог слепого”, в сокращении)*

Слышите слог, который не спутаешь ни с каким другим?

Я бы не приводил для примера это стихотворение, если бы не знал наверняка, что Юрий Кузнецов как истинный мастер гордился своими переводами. Было чем. Но при этом не терял чувства юмора. А так как на титуле стояло: “Перевод с бурятского Владимира Бояринова и Юрия Кузнецова”, — целый вечер после выхода книги подначивал в застолье: “Так чьи переводы лучше?”

А застолье состоялось благодаря моему с Кузнецовым пари.

Книга вышла в день зарплаты, бухгалтерия была готова выписать нам гонорар. Но ещё не пришла справка из Книжной палаты, в которой указывалось, какое по счёту издание на русском языке имеет то или иное стихотворение. А так как “Сияние в Саянах” было новинкой, то и предоставление этой справки было несложным делом для палаты.

Я договорился с бухгалтерами о том, что к вечеру принесу этот желанный документ, а они выдадут гонорар. После чего объявил Юрию Поликарповичу:

- Вечером обмоем наше “Сияние”.
- А что, — удивился Кузнецов, — справка пришла?
- Сама сегодня уже не придёт, но я её добуду!
- Слабо! — сказал Кузнецов. И мы ударили по рукам.

Я позвонил в Книжную палату заведующей Конюшовой. Рассказал ей выдуманную на ходу историю о том, что бурятский автор Лопсон Тапхаев сейчас находится в Москве, но завтра улетает в Прагу, а так как у него есть шанс получить в издательстве “Современник” гонорар, то не могли бы вы выдать справку сегодня. Тем более что это первая книга автора на русском языке, и Палате не надо было проводить исследование на тему: сколько раз издавалось каждое стихотворение в книжном варианте. Подобная справка состояла из трёх предложений.

И пусть нас разделяло расстояние от метро “Молодёжная” до метро “Библиотека Ленина”, но я увидел, как на другом конце провода заведующая Конюшова широко улыбнулась моей хитрости, а въяве сказала:

- Так пусть сам Лопсон Тапхаев и придёт за справкой.

Но меня уже трудно было остановить.

Дядя моей жены по имени Ахмет имел вполне восточный вид, а при галстуке и в шляпе выглядел убедительно и солидно.

Когда мы с Ахметом вошли в огромный зал Книжной палаты, где за тесными столиками сидело не меньше трёх десятков женщин, работающих над пресловутыми справками, и где, словно классный руководитель, за столиком пошире угадывалась наша заведующая, мы наперебой заговорили с родственником на таком замысловатом языке и так громко, что заведующая Конюшова без проволочки выдала Лопсону-Ахмету желанную справку.

Ахмет поблагодарил Конюшову по-татарски. А я, размахивая руками и как бы объясняя существо происходящего своему спутнику, прочёл очередное стихотворение на казахском языке, выученное ещё в семипалатинской средней школе. Собственно, в этом и заключался секрет нашего толмачества, где бурятским языком даже не пахло.

Справку я принёс сначала Кузнецову – в знак того, что пари выиграно. Потом отдал в бухгалтерию. И мы получили гонорар.

А ещё через полгода Лопсон Тапхаев за книгу “Сияние в Саянах” получил премию Ленинского комсомола. Но и это ещё не всё. Наш поход в Книжную палату обрёл черты легенды, и татарская родня переименовала дядьку Ахмета в Лопсона.

### Не дозрел

Кому-то Кузнецов казался слишком мрачным, кому-то – замкнутым. Когда я начал его понимать, стало очевидным: не только в минуты некой отрешённости, но всегда и везде его не покидала неотвязная и неведомая сосредоточенность, принимаемая многими за угрюмость.

То ли на 23 февраля, то ли на 9 Мая наша редакция выпустила серьёзную стенгазету. И передовица в ней была серьёзная, и стихотворение Юрия Кузнецова тоже:

*Бывает у русского в жизни  
Такая минута, когда  
Раздумье его об отчизне  
Сияет в душе, как звезда...*

Такой оборот показался мне декларативным и прямолинейным. Стоя в тесном коридорчике, который одновременно служил для нас курилкой, я решил с “выражением” прочесть эти строки в присутствии других сотрудников. Прочесть так, чтобы они увидели: и на старуху бывает проруха. Я вошёл в раж и не заметил, как за моей спиной вырос Кузнецов. Он положил руку на моё плечо и с сожалением произнёс:

– Не дозрел!

### Любимая песня Бога

В Литературном институте прошёл вечер памяти Юрия Кузнецова. Там же была попытка презентации книги Кузнецова “Крестный путь”, которая по какому-то фантастическому недомыслию издателей вышла под названием “Крестный ход”. Ошибку они осознали в тот момент, когда весь тираж был уже отпечатан. Поэтому выступающие несколько раз запинаясь об этот казус, и когда очередь дошла до выступления редактора, его в зале уже не было. Но вечер получился чинный.

Батима подарила каждому по книжке и диску с записью стихов и песен на стихи Юрия Кузнецова.

Придя домой, я поставил диск на прослушивание. Рядом присел шестилетний внук Артём, и когда очередь дошла до “Колыбельной”, отнюдь не نابожный пятилетний мальчик вдруг сказал: “Это любимая песня Бога”.

## МАРИНА ГАХ

(Москва)

### ВСЕЛЕНСКОЕ И СО-ВРЕМЕННОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Мне кажется, что название конференции “Вселенское и родное в творчестве Юрия Кузнецова” несколько диссонирует с представлениями самого Кузнецова. Он всегда пытался донести до нас, что *вселенское* является *родным* для поэта. Это звучало на многих его семинарах, особенно ярко выразилось

в темах “Родина” и “Память”. Кузнецов считал, что без родины не может быть поэта. Люди мира, для которых дом там, где им хорошо, не могут быть творцами, потому что им не на чем распрямиться. Они, как перекасти-поле, не имеют глубинных связей со своим народом, со своей духовной культурой. Между тем только твёрдое и прямое даёт возможность самоформирования творческого существа.

Но и узкое видение, когда малая родина закрывает весь горизонт, не помогает творчески мыслить. Для поэта родина – мать, а отечество – вся вселенная. Кузнецов считал, что поэт обязан знать не только свою и мировую культуру, но и религию. Должен вникать в иное мировоззрение, расширять кругозор образом и переживанием.

Очень важна была для него отзывчивость славянской души, её способность вбирать мировые образы, как свои, сопереживать и сочувствовать им в полной мере. Иван-не-помнящий-родства – потому что не несёт балласта памяти, как Европа, – оказался способным сохранять, ценить, понимать мировую культуру лучше европейцев (“Отдайте Гамлета славянам...”). О восприятии Кузнецовым вселенского как родного говорит и стихотворение “Петрарка”. Высокомерное отношение Петрарки к пленникам-скифам задело его за живое. В этом стихотворении итальянский поэт в образе своих соплеменников, солдат Второй мировой, узнал в полной мере русское гостеприимство. Кузнецов так завершает стихотворение:

*И никто от порога не гнал,  
Хлеб и кров разделяя с поэтом.  
Слишком поздно других он узнал,  
Но узнал. И довольно об этом.*

Здесь вся широта славянской души, умеющей прощать. Хотя последние слова взяты из письма самого Петрарки, где имели иной – раздражённый – тон (“Впрочем, довольно об этом”). Оттенки смысла – и какая глубокая разница мировоззрений!

Его дом – вселенная. Поэтому в стихотворении “Новое небо” (“Где вы, сёстры и братья мои? // Я построил вам новое небо!”) его сёстры и братья – это все народы. И подтверждение тому – книга его переводов “Пересаженные цветы”. Все стихи, которые он переводил, все авторы становились ему родными, и поэтому они звучат у него так откровенно, чисто, от сердца.

Кузнецов вдохновлял нас писать на вечные темы. Каждый семинар так и назывался: “Слёзы – вечная тема поэзии”, “Память – вечная тема поэзии” и т. д. Тема задаёт уровень. Вечная тема – это тема, затрагивающая вечную часть человека, то есть его душу. И каждая лекция начиналась с экскурса в мировую литературу, в мировую философию. Кузнецов говорил, что в полной мере работать с темой можно, лишь зная о ней то, что сказали другие. Тогда можно выкристаллизовать своё.

Но принимая вселенское как своё родное, он открывает парадоксы (“...русскому сердцу везде одиноко...”). Когда он читал нам лекцию “Одиночество – вечная тема поэзии”, то говорил, что только воцерковлённый человек (чувство соборности) способен избежать одиночества. Для него чувство одиночества будет уже не просто вселенское, но небесное, духовное. Почему одиноко? Потому что истинный дом – там, наверху, с Богом, здесь мы – в гостях, а там – дома.

Среди лекций Юрия Поликарповича особое место занимали две темы: “Время” и “Пространство”. Это не литературная, а скорее философская проблематика. Чувствовалось, что он сам ещё обдумывает её и собирает информацию. В теме “Время” прозвучало, что время для каждого течёт по-разному, что есть время тела и время души. Остаётся в личности только то время, когда полноценно живёт душа. Тут коренится тот интерес ко времени, которым он жил – в поиске тех его составляющих, которые определяют будущее мира и всей вселенной.

*Бывает у русского в жизни  
Такая минута, когда  
Раздумье его об отчизне  
Сияет в душе, как звезда.*



И заканчивает:

*...И зреть, что случится потом.*

Но столкновение с прямым временем вызывало у него порой отторжение. В девяносто третьем году он участвовал в шествии от ВДНХ к Белому Дому и попал под обстрел. Он рассказывал нам, что поэт не может идти в толпе, что толпа затягивает, лишает индивидуальности, лишает творческого видения. Это были выстраданные наблюдения и слова. Поэтому у него появились удивительные стихи, которые я бы назвала *со-временными*.

Он вычленил во времени то, что будет переходить в будущее, то есть вычленил в его текущем *вечное*. И тут начинается главное в его творчестве. Он вычленяет во времени ближайшие крупницы вечности и облекает их в стихотворения. Так появляются “Маркитанты”, “Неизвестный солдат”, “Последний человек”, “Анюта”, его военные стихи, любовная лирика... Пройдя и пережив в творчестве вселенское как родное, он стал именно *со-временным* поэтом. Он попал в тот качок маятника, который остаётся в вечности.

## АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ (Москва)

### “ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ...”

В русской поэзии есть одно стихотворение. Когда я читаю его первую строфу, то сразу вспоминаю Кузнецова. Это стихотворение Александра Блока “Поэты”:

*За городом вырос пустынный квартал  
На почве болотной и зыбкой.  
Там жили поэты, — и каждый встречал  
Другого надменной улыбкой.*

Ещё я невольно вспоминаю писательский городок Внуково, где у Кузнецова была дача, и тех поэтов – недоброжелателей Кузнецова, которые жили по соседству, и с какой улыбкой (точнее, её отсутствием) он их встречал. Однако это стихотворение в контексте темы конференции меня заинтересовало не этим. Эта параллель была бы слишком простой. Интересней мне показалось то, что это стихотворение, так чётко напоминающее зримые нами реалии в отношениях больших поэтов друг к другу, будучи весьма невесёлым, парадоксальным образом говорит о большом влиянии поэзии, которое она имела тогда. Вот Владимир Бояринов в своём выступлении говорил о том, как Кузнецов реагировал на имена достаточно крупных поэтов (как Леонид Мартынов). Но каждый из них, “встречавших друг друга надменной улыбкой”, – это были *фигуры*, это были люди, из единиц которых вот это великое явление поэзии и существовало. Я продолжу цитировать хорошо известное блоковское стихотворение:

*Напрасно и день светозарный вставал  
Над этим печальным болотом;  
Его обитатель свой день посвящал  
Вину и усердным работам.*

*Когда напивались, то в дружбе клялись,  
Болтали цинично и пряно.  
Под утро их рвало. Потом, запершись,  
Работали тупо и рьяно.*

*Потом вылезали из будок, как псы,  
Смотрели, как море горело.*

*И золотом каждой прохожей косы  
Пленялись со знанием дела.*

*Разнежась, мечтали о веке золотом,  
Ругали издателей дружно.  
И плакали горько над малым цветком,  
Над маленькой тучкой жемчужной...*

*Так жили поэты. Читатель и друг!  
Ты думаешь, может быть, — хуже  
Твоих ежедневных бессильных потугов,  
Твоей обывательской лужи?*

*Нет, милый читатель, мой критик слепой!  
По крайности, есть у поэта  
И косы, и тучки, и век золотой,  
Тебе ж недоступно всё это!..*

*Ты будешь доволен собой и женой,  
Своей конституцией куцей,  
А вот у поэта — всемирный запой,  
И мало ему конституций!*

*Пуškai я умру под забором, как пёс,  
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —  
Я верю: то Бог меня снегом занёс,  
То вьюга меня целовала!*

Думаю, что если бы это стихотворение не было написано в 1908 году, то его можно было бы смело посвятить Юрию Кузнецову. И это не шутка — это особенность русской поэзии. Потому что мы с вами понимаем и по пафосу этого стихотворения, и по внутренней его напряжённости, что это некое продолжение пушкинского “Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон, // В заботы суетного света // Он малодушно погружён...”. Но ясно, однако, и то, что в любой момент, под влиянием любой искры эти люди распрямятся — и зазвучит их божественный глагол. И, как ни странно, эта роль поэтов в том обществе сохранялась и тогда, когда писал стихотворение Блок, и в дальнейшем, уже при советской власти. Ведь когда сочиняли социально-политическую концепцию Русской Православной Церкви, там была такая фраза: “Даже во времена атеистических гонений русская классическая литература свидетельствовала о Боге”. Это правильно. Но я думаю, что творчество любого поэта — даже поэта коммуниста, атеиста, материалиста — свидетельствовало о Боге (конечно, если речь идёт о достаточно талантливом человеке). Ибо если Маяковский написал: “Мой стих трудом громаду лет прорвёт // и явится весомо, грубо, зримо, // как в наши дни вошёл водопровод, // сработанный ещё рабами Рима”, — то ведь это не марксистская трактовка темы, не атеистическая, потому что слово, в соответствии с научным коммунизмом, — это производное социальных отношений, и оно актуально лишь относительно современности, того, что сейчас звучит, а когда оно выходит за свои границы и “трудом прорывает громаду лет”, это уже ближе к евангельской концепции слова, которая звучит в Евангелии от Иоанна. И так было всегда, пока поэзия имела достаточный вес и достаточное влияние в нашей жизни. А она имела, потому что через шестьдесят лет после создания приведённого выше стихотворения Блока появилось другое — Юрия Кузнецова — под названием “Поэт” (это уже характерная особенность Кузнецова: если Блок писал от лица всех поэтов, то Кузнецов писал от лица, так скажем, своего лирического героя, а проще говоря — от самого себя):

*Спор держу ли в родимом краю,  
С верной женщиной жизнь вспоминаю  
Или думаю думу свою —  
Слышу свист, а откуда — не знаю.*

*Соловей ли разбойник свистит,  
Щель меж звёзд иль продрогший бродяга?  
На столе у меня шелестит,  
Поднимается дыбом бумага.*

*Одинокий в столетье родном,  
Я зову в собеседники время.  
Свист свистит всё сильнее за окном —  
Вот уж буря ломает деревья.*

*И с тех пор я не помню себя:  
Это он, это дух с небосклона!  
Ночью вытащил я изо лба  
Золотую стрелу Аполлона.*

Как будто и не проходило шестидесяти лет, не правда ли? Это написано в той же атмосфере, при которой поэзия продолжала влиять на жизнь общества. Конечно, в газетах, по центральному телевидению на первом плане, казалось, было другое. Но этот мир всегда существовал рядом. А тот, кто хоть немного проникся этим миром, понимал, что он гораздо шире, он уходит в бесконечность. Это не тот ограниченный, герметичный мир, где ты “доволен собой и женой” и “своей конституцией куцей”. Те, кто жил в то время, отлично помнят, что голос поэта имел значение, и то, чем он занимался, имело значение. Поэт — это действительно звучало гордо.

Я недавно пересматривал первую серию фильма “Хождение по мукам” режиссёра Ордынского (1977 год), и там очень хорошо передана эта атмосфера всепроникающего влияния поэзии на жизнь. Потому что одна из героинь — Даша Булавина — заочно, по портрету, по стихам безоглядно влюбляется в поэта Бессонова, прототипом которого был как раз Блок. Сейчас же говорить о том, что какой-то поэт, даже красавец-мужчина, влияет на общество, не приходится. Когда я работал в Литинституте, я видел, о ком писали молодые девушки как о герое, в кого влюблялись их героини: это рокеры, рэперы и т. д. Поэтов среди них не было. Всё сместилось и изменилось значительно. И, видимо, произошли какие-то изменения в самом обществе. Сильные изменения. Они были видны и по самому Кузнецову. Он как бы жил в предыдущем времени, когда сила поэзии была ещё велика (во всяком случае, по влиянию на людей) и когда он сам по себе был фигурой весьма и весьма значительной, хотя и не так распиаренный, как Евтушенко или Вознесенский. И одновременно это была картина с примесью абсурда, потому что никто вокруг, кроме литературного сообщества, редакторов, уже так не считал, а он себя продолжал ощущать вот в этом своём прежнем качестве — *поэта*, который *жжёт глаголом сердца людей*. Ведь это не просто метафора — в этом выражена искренняя вера: “Поднимается дыбом бумага...”. Это звучит в духе гумилёвского “Слова”:

*В оный день, когда над миром новым  
Бог склонял лицо своё, тогда  
Солнце останавливали словом,  
Словом разрушали города.*

Это то, во что Кузнецов совершенно безоговорочно верил. И это, собственно, то, что делает так называемое *Родное*, вынесенное в тему нашей конференции, *Вселенским* — именно принадлежность поэта к этому бесконечному миру, миру вселенской поэзии. А, кстати, он это так и понимал. Да, тогда уже, в те времена, когда вошёл в поэзию Кузнецов (в 1960–1980-е годы), её пространство сужалось, потому что поэт мог реализоваться, завоевать славу, признание, лишь живя в Москве или в Питере (а скорее всего — только в Москве). Я уже вспоминал как-то на одной из наших конференций судьбу прославленного им поэта Валерия Горского, “потускневшей тени Краснодара”, как писал Кузнецов. А где-то в 2006 году, когда были первые Кузнецовские чтения в Краснодаре, мы после первого дня конференции, за дружеским ужином обменивались впечатлениями, и как-то зашёл разговор о Горском...

И все присутствующие краснодарцы по кругу стали говорить о том, какой он был талантливым, великолепным. (Ну, я-то в этом не сомневался, потому что Юрий Поликарпович далеко не каждого хвалил, а если хвалил, то с неохотой...) И я тогда спросил: “А можно ли почитать стихи Горского? Книжечка у него есть? – Нет, книжек у него не выходило... – А где можно почитать его стихи? Может быть, в журналах? – Да нет, он печатался в основном в районных газетах, а их можно, в лучшем случае, добыть лишь в библиотеках. – А наизусть кто-нибудь помнит Горского? – Да нет, наизусть никто не помнит...” То есть он перешёл в разряд легенд, существует только благодаря Юрию Поликарповичу (его памяти о своём друге-поэте). А сам Горский, как известно, чуть ли не под забором где-то умер. Вот она – судьба человека, который, говоря нынешним языком, не работает над собой и трудом не прорывает громаду лет. А Кузнецов знал, что это неперемное условие того, чтобы, в частности, Родное превратилось во Вселенское.

Но вот когда сдвинулись тектонические пласты времени, когда политика и всё остальное, что с нею связано, настолько изменилось, что поменяло и этот мир, это не могло не сказаться и на отношении к поэзии. Причём это совершенно парадоксальное явление. Ведь никогда такого не было, чтобы поэты могли общаться с сотнями тысяч людей на каком-то сайте, как это происходит на безызвестном Стихи.ру (там сотни тысяч подписчиков и ещё форумы). Казалось бы, это значит, что поэзия сейчас на подъёме, вопреки тем словам, которые я произнёс выше. Но если вы зайдёте на эти форумы, то первое, что вы обнаружите, – там нет никаких авторитетов. Второе – там преобладают графоманы, которые не стесняются, как и посетители форумов, употреблять крепкие выражения, в том числе и матерные, при оценке своих коллег. Там нет *уровня*, нет абсолютно никакой градации. И такие явления, как, скажем, Вера Полозкова – это из того же ряда. Чисто распиаренная фигура. Как кто-то мне сказал, свои книжки она сама выпускает тиражом около тысячи экземпляров. А где, друзья мои, даже в самых крупных издательствах, которые сейчас остались, – где там отделы поэзии? Оказывается, нигде и нет никаких отделов поэзии. Это при том, что у нас практически каждый пишет стихи, как я подозреваю. А поэзия на самом деле вытеснена полностью из культурной жизни. Проза как-то ещё закрепились, драматургия и то, что связано с кино. А поэзия вытеснена на обочину жизни. То есть пора уже собирать конференции не только по творчеству Юрия Поликарповича Кузнецова, а по поводу судьбы самого этого уникального явления – поэзии. Оно перешло в разряд графомании и *протопоэзии*.

Вспоминаю, как я работал внештатным рецензентом издательства “Детская литература”. Надо сказать, что меня с ходу приняли и даже обрадовались моему приходу: “О! Мы будем тебе платить, только бери объём литературы, который присылают бабушки, дедушки”. Они сначала сочиняют для детей, а потом у них появляется идея это всё напечатать. Я вынужден был в этом разбираться, и тогда и изобрёл этот термин – *протопоэзия*. То есть это когда что-то сочиняется для утилитарного, простите, использования (чтобы читать детям, успокаивать их колыбельными песнями и т. п.), но ещё не превращается в поэзию. Так что мы возвращаемся во времена протопоэзии, где ещё можно как-то говорить о родном, но уже о вселенском говорить просто не приходится.

Где те поэты, слово которых звучало бы не то что пророчески, а хотя бы как просто красивое русское слово? У нас по-прежнему существуют семинары поэзии в Литинституте, полно поэтических объединений... Но я же вижу, что происходит. Даже когда поэтический семинар на ВЛК (Высшие литературные курсы при Литературном институте. – **Прим. ред.**) вёл Валентин Сорокин (там были приличные поэты), я помню, как они читали свои стихи... Они как-то боком подходили к микрофону и деревянными голосами всё это произносили, потому что чувствовали прибитость своего существования в этом обществе. Я, помню, им говорил: “Почему вы так читаете свои стихи?!” (памятуя, как это делали поэты ещё в восьмидесятые годы – распрямившись, с выражением, а иногда даже и с экзальтацией). Это всё часть процесса совершенного убиения поэзии.

Спрашивается: а не смешно ли тогда, не по-донкихотски ли выглядят вот эти наши попытки популяризировать творчество одного прекрасного поэта, когда мы каждый год собираемся, и всё это организуется, я знаю, не без труда?

И я неизменно прихожу к мысли, что нет, это не напрасно и не случайно. Это не только звенья одной цепи — это необходимое условие. Ведь что может обеспечить возрождение поэзии, её авторитета? Это пропаганда и внедрение (даже таким образом, как это делаем мы на наших конференциях) в сознание людей поэтических авторитетов и того, что они несут своей поэзией. Того, что есть люди, пишущие стихи, а есть те, кому в лоб попала вот эта самая “золотая стрела Аполлона”, и прежде всего, конечно же, это относится к Юрию Поликарповичу Кузнецову.

Поэты снова распрямятся и станут снова глядеть орлами, когда они поймут, что за ними кто-то есть. Ведь сколько раз мы встречаемся в жизни с ситуациями, когда человек охотно вёл бы себя благородно, прямо, справедливо, но ему это очень трудно, если он не знает аналогичных примеров. Люди-то у нас в большинстве своём — порядочные, добрые, хорошие. Но совершают много дурных поступков, потому что не видят подходящих примеров. То же самое и в поэзии. Пока снова не появится новая поэтическая школа, которая заговорит с людьми тем языком, каким разговаривали Блок, Юрий Кузнецов и многие другие поэты даже советского времени, нелюбимые Кузнецовым, у нас ничего не будет. И я вижу, что вот эти наши конференции могут послужить основой для создания вот такой школы, а не только тому, чтобы мы каждый раз вспоминали Юрия Поликарповича, чего он, безусловно, достоин. Ведь была какая-то и у него стратегическая цель (они у него всегда были, потому что это был человек не тактических целей, а стратегических). И я думаю, он бы не возражал против такой постановки вопроса. Его стих прорвал громаду времени и существует до сих пор. И я верю, что наши усилия в этом смысле тоже не пропадут.

## СЕРГЕЙ КАЗНАЧЕВ

(Москва)

### ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Кузнецов и Твардовский? Что может быть между ними общего? Разве они — не антиподы и в художественном, и, если брать проблему уже, в стилистическом отношении?

И в самом деле, может показаться, что на всём русском поэтическом пространстве нельзя найти две столь несходные фигуры. Яркий поборник автологического стиля, сторонившийся ярко обозначенной образности, неявный, но последовательный противник метафорического мышления, Александр Трифонович Твардовский и взрывной, неординарный, неподвластный общепринятым доктринам, чуждый вкусам всех и всяческих литературных староверов Юрий Поликарпович Кузнецов представляются настоящими полюсами эстетической самореализации.

Один — лауреат многих престижных наград, в том числе Сталинской, Ленинской и Государственной премий. Другой — литератор, получивший весьма невеликую долю почёта и поощрения, обладал более чем скромным иконостасом.

Первый — прославленный, влиятельный, хотя временами и гонимый главный редактор “Нового мира”, второй — скромный заведующий отделом поэзии в “Нашем современнике”. Один — обладатель нескольких правительственных дач в Подмосковье, другой ютился в маломерной внучковской квартире. Один — Твардовский, вращавшийся в высших литературных и политических кругах, другой — Кузнецов, державшийся особняком в сообществе литераторов. Ну, и так далее.

Однако, присмотревшись пристальнее, находишь в этих людях немало и сходного. Один ушёл из жизни в шестьдесят один с половиной, второй — в шестьдесят два с половиной года. И та, и другая смерть были достаточно неожиданными (у Твардовского, прикреплённого ко всем кремлёвским поликлиникам, был внезапно обнаружен застарелый рак лёгких). Подполковник Твардовский прошёл дорогами войны в качестве фронтового корреспондента,

Кузнецов был сыном красноармейского офицера, павшего в боях Великой Отечественной. Тот и другой имели большое влияние на современников и поэтических потомков.

Но это — обстоятельство жизни. А что мы видим при попытке сближения в сфере художественной? Казалось бы, небо и земля, волна и камень, лёд и пламень. Но это — на первый, не особо осмотнительный взгляд. Такими ли уж антиподами были два этих поэта? Не присутствует ли в изначальном строе их личностей единого родного, родственного начала?

Первая точка соприкосновения находится в той плоскости, которая не требует особых доказательств и вполне очевидна: оба они были верны традициям национального народного стиха. Об этом написаны горы книг, хотя о каждом из них — индивидуально. Это единство противоположностей относится к корневым, онтологическим пластам творчества. Конечно, и тот, и другой продвигались к манящей цели своей эстетической траектории своими путями, но путеводная звезда у них была одна.

Но есть черты, роднящие поэтику Александра Твардовского и Юрия Кузнецова, которые залегают в более тонких сферах творчества. Например, в музыкальном и интонационном строе их поэзии. Вслушаемся в звучание ранней поэмы первого из них “Страна Муравия”:

*С утра на полдень едет он,  
Дорога далека.  
Свет белый с четырёх сторон  
И сверху — облака.*

*Тоскуя о родном тепле,  
Цепочкою вдали  
Летят, — а что тут на земле,  
Не знают журавли...*

*У перевоза стук колёс,  
Сбой, гомон, топот ног.  
Идёт народ, ползёт обоз,  
Старик паромщик взмок.*

*Паром скрипит, канат трещит,  
Народ стоит бочком.  
Уполномоченный спешит  
И баба с сундучком.*

*Паром идёт, как карусель,  
Кружась от быстрины.  
Гармошку плотничья артель  
Везёт на край страны...*

*Гудят над полем провода,  
Столбы вперёд бегут.  
Гремят по рельсам поезда,  
И воды вдаль текут.*

Стоит прочесть эти строфы напевно, закрыв глаза, и рождается удивительное чувство дежавю. Эта комбинация четырёх- и трёхстопного ямба с мужскими клаузулами и, соответственно, рифмами недвусмысленно отсылает нас к известному стихотворению из раннего периода творчества Ю. Кузнецова — “Четыреста”:

*Четыре года моросил,  
Слезил окно свинец.  
И сын у матери спросил:  
— Скажи, где мой отец?*

— *Пойди на запад и восток,  
Увидишь, дуб стоит.  
Спроси осиновый листок,  
Что на дубу дрожит.*

*Но тот осиновый листок  
Сильней затрепетал.  
— Твой путь далёк, твой путь далёк, —  
Чуть слышно прошептал.*

— *Иди куда глаза глядят,  
Куда несёт порыв.  
— Мои глаза давно летят  
На Керченский пролив.*

*И подхватил его порыв  
До керченских огней.  
Упала тень через пролив,  
И он пошёл по ней.*

Стилистический рисунок здесь сходен ещё и потому, что в обоих случаях авторы выражают энергию могучего, поступательного движения — движения безотчётного, таинственного, рокового. Конечно, материал в двух фрагментах разный: коллективизация и поиск крестьянином Никитой Моргунком лучшей доли в “Стране Муравии” и воспоминания-прозрения о боях на Малой земле в “Четыреста”, но интонационный строй в них един. И дело не в сходстве метрического рисунка: в конце концов, просодия русского регулярного стиха даёт сравнительно немного вариантов применения силлабо-тонических размеров и повторы, многократные обращения к одним и тем же схемам неизбежны. Но в данном случае возникает ощущение не внешнего, а глубоко прочувствованного, генетического родства. Однако “муравская” интонация аукнула не только в стихотворении “Четыреста”.

Сравним другой фрагмент из поэмы Твардовского:

*Далёко стихнуло село,  
И кнут остыл в руке,  
И синевой заволокло,  
Замглилось вдалеке.*

*И раскидало конский хвост  
Внезапным ветерком,  
И глухо, как огромный мост,  
Простукал где-то гром.*

*И дождь поспешный, молодой  
Закапал невпопад.  
Запахло летнею водой,  
Землём, как год назад...*

Согласитесь, что это очень напоминает стилистику... Юрия Кузнецова! В этом размере выдержана примерно половина текста поэмы “Страна Муравия”, и, хотя трудно доказать, насколько впечатлительным читателем был юный Юрий Кузнецов, трудно избавиться от ощущения, что этот ритмико-метрический рисунок вошёл в его поэтическое сознание не без участия старшего сотоварища по перу. Чтобы понять это, достаточно процитировать хотя бы несколько строф из его поэмы “Золотая гора”:

*Не мята пахла под горой,  
И не роса легла,  
Приснился родине герой.  
Душа его спала.*

*Когда душа в семнадцать лет  
Проснулась на заре,  
То принесла ему извет  
О золотой горе:*

*— На той горе небесный дом  
И мастера живут.  
Они пируют за столом,  
Они тебя зовут.*

Или, например:

*Безмерный подвиг или труд  
Прости ему, Отец,  
Пока души не изведут  
Сомненья и свинец.*

*Дай мысли — дрожь, павлину — хвост,  
А совершенству — путь...  
Он повстречал повозку слёз —  
И не успел свернуть.*

*И намоталась тень его  
На спицы колеса.  
И тень рвануло от него,  
А небо — от лица.*

*Поволокло за колесом  
По стороне чужой.  
И изменился он лицом,  
И восскорбел душой.*

Помимо музыкально-ритмической составляющей тут в глаза бросается также поразительная верность фольклорному строю речи, образности и стилистике народного стиха.

Ещё одну точку соприкосновения художественных миров А. Твардовского и Ю. Кузнецова можно обнаружить в их приверженности к военной теме. Вершиной поэтического пути первого вполне заслуженно принято считать его “книгу про бойца” — “Василий Тёркин”. Не оставлял он этой линии и в дальнейшем (“Последние залпы” и проч.). Существенную дань военной проблематике отдал и второй. Юрий Кузнецов, кстати, и не скрывал, что склонен в этом плане опираться на художественный опыт предшественника. В выступлении на четвёртом съезде писателей РСФСР (1975) было сказано: “Поэты военного поколения донесли до нас быт войны. Война как бытие, однако, до сих пор освоена мало. У нас ещё нет новой “Войны и мира” или нового “Тихого Дона” о прошедшей войне. Но верное направление по прорыву из быта в бытие уже указано автором “Я убит подо Ржевом”. Не будучи сам фронтовиком, Кузнецов претворил в стихи свой опыт сына погибшего героя, воспоминания о службе на Кубе в дни Карибского кризиса; не оставлял военной темы он и в дальнейшем, хотя в приложении к современности она нередко принимала ироническое звучание (“Золотая рыбка” и проч.).

В творческом наследии здраво и трезво мыслящего Твардовского мы находим также случай (попытку) обращения к демонологическому пласту бытия — это поэма “Тёркин на том свете”, где в изобилии изображены черти, бесы и прочая нечисть. Общим местом стала трактовка этого сочинения как сатиры на советскую бюрократию, но и в нём порой звучат нотки, напоминающие кузнецовскую человеческую позицию при его взгляде на порядки в журналистско-издательской сфере:

*...Смотрит — за углом —  
Орган того света.  
Над редакторским столом —  
Надпись: “Гробгазета”.*



За столом — не сам, так зам, —  
 Нам не всё равно ли, —  
 — Я вас слушаю, — сказал,  
 Морщась, как от боли.  
 Полон доблестных забот,  
 Перебил солдата:  
 — Не пойдёт. Разрез не тот.  
 В мелком плане взято.  
 Авторучкой повертел.  
 — Да и места нету.  
 Впрочем, разве что в Отдел  
 Писем без ответа...  
 И в бессонный поиск свой  
 Вникнул снова с головой.  
 Весь в поту, статейки правит,  
 Водит носом взад-вперёд:  
 То убавит, то прибавит,  
 То своё словечко вставит,  
 То чужое зачеркнёт.  
 То его отметит птичкой,  
 Сам себе и Глав, и Лит,  
 То возьмёт его в кавычки,  
 То опять же оголит.  
 Знать, в живых сидел в газете,  
 Дорожил большим постом.  
 Как привык на этом свете,  
 Так и мучится на том.  
 Вот притих, уставясь тупо,  
 Рот разинут, взгляд потух.  
 Вдруг навёл на строчки луну,  
 Избоченясь, как петух.  
 И последнюю проверку  
 Применяя, тот же лист  
 Он читает снизу кверху,  
 А не только сверху вниз.  
 Верен памятной науке,  
 В скорбной думе морщит лоб.  
 Попадись такому в руки  
 Эта сказка — тут и гроб!  
 Он отечески согретым  
 Увещаньем изведёт.  
 Прах от праха того света,  
 Скажет: что ещё за тот?  
 Что за происк иль попытка  
 Воскресить вчерашний день,  
 Неизжиток  
 Пережитка  
 Или тень на наш плетень?..  
 Задурил, кичась талантом, —  
 Да всему же есть предел! —  
 Новым, видите ли, Дантом  
 Объявиться захотел.

Имя Данте здесь всплывает тоже совсем не случайно, если вспомнить о произведении Ю. Кузнецова “Сошествие в Ад”, где его герой проделывает свой собственный путь по стопам великого флорентийца. В заключение добавлю, что явные черты сходства двух поэтов проглядывают в их неоднозначном, но явно заинтересованном отношении к личности Сталина. Но в этом массиве литературного материала хотелось бы разобраться в другой раз.

## ЛОЛА ЗВОНАРЁВА (Москва)

### ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА-СИМВОЛА ГОРОДА В ПОЭЗИИ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Юрий Поликарпович Кузнецов родился 11 февраля 1941 года в станице Ленинградской Краснодарского края, а умер в Москве 17 ноября 2003 года. Рождение поэта связано с небольшим сельским поселением, но великие города, такие реперные точки отечественной и мировой истории, стали знаковыми героями его философской лирики, обладающей мощными подтекстами и скрытыми символами-знаками.

Рассмотрим, как менялся образ города в поэзии Юрия Кузнецова на протяжении его жизни.

Первым городом, с которым столкнула его судьба, стал Тихорецк, вторым — Краснодар. Когда в 1998 году Юрию Поликарповичу передали привет из Краснодара от одного из мэтров местной писательской организации, поэт отреагировал неожиданно агрессивно и вызывающе-презрительно (“верните ему его плевочки”). Очевидно, с Краснодаром у Кузнецова было связано немало горьких воспоминаний. Известно от современников предупреждение руководителя поэтического семинара, в котором учился молодой поэт в 60-е годы в Литературном институте, Сергея Наровчатова, считавшего, что Юрию нельзя возвращаться в Краснодар, что он там погибнет.

В небольшой поэме “Водолей” 1970 года тридцатилетний поэт вспоминает свою первую любовь и город детства Тихорецк, не ставший родным, который он даже не называет:

*Я позабыл провинциальный город,  
Где улицы выходят прямо в степь.  
Был город детства моего — дыра,  
Дыра зелёная и голубая.  
И девушка моя, как мир, стара,  
Сияла, лёгкая и золотая.  
На карусель мы сели, на скамью  
Летучую и голубую.  
Но закружило голову мою,  
И я забыл зелёную свою  
И первую, и дорогую.  
“В Москву! — кричал. — Немедленно в Москву!”  
Зачем же из неё в тоске бегу я?*

В известной реплике: “В Москву!” — заметна скрытая пародия на “Трёх сестёр” А. П. Чехова, как известно, также прорывавшегося из провинциального Таганрога в Москву. Лирический герой этой ранней поэмы, “размешивая чайной ложкой жизнь”, несётся на поезде по бескрайним просторам родной земли:

*Проеду мимо пашен, мимо рек,  
В окне земля российская мелькает,  
Обочь несётся, дальше проплывает,  
А далее стоит из века в век.  
Я вспомню голубое. Стык за стыком  
Несутся вспять былые времена.*

В безымянный провинциальный город, где “в воздухе переломилось время”, возвращает лирического героя память сердца:

*Но в городе есть улица одна.  
Тончайшей ложкой со стеклянным стуком*

*Я постучусь... Откроет дверь — она!  
Я понимаю, как её встревожит.  
— Вы помните, двенадцать лет назад  
Я вас любил, любовь ещё, быть может...  
— Ах, это вы? Садитесь, Александр! —  
Но в хитрый разговор совсем некстати  
Ворвались дребезжащие болты  
И голос: “Остановка!” На закате  
Горят верхи деревьев и мечты.  
Вокзал качнулся, замерли деревья,  
И в воздухе переломилось время.  
Я вышел с чайной ложкой на перрон.  
О, город детства, это он ли? Он!  
Что с поездом? “Задержится немного”.  
Успею!.. О, забытая дорога!  
Мне стыдно потому, что всё прошло.  
Вот этот дом. Знакомое окошко.  
Я постучал, как дьявол, чайной ложкой  
В холодное горячее стекло.  
В окне мелькнуло женское лицо,  
Открылась дверь бесшумно на крыльцо.  
Смеркалось. Вышла женщина из света.  
Я молвил у ступеньки на краю:  
— Не узнаёшь знакомого поэта? —  
Она произнесла: — Не узнаю...*

Но провинциальный город детства с вокзалом, в котором “горят верхи деревьев и мечты”, маленький домик с крыльцом и окном, в котором “холодное горячее стекло”, хранит лишь тень давних воспоминаний, свежесть которых утрачена безвозвратно:

*И в прошлом ничего-то не найти,  
А поезд мой давно уже в пути.  
И площадь привокзальная пуста.  
И скука ожидания остра.  
Но вот машина. Морда между делом  
Зевает. На борту во всю длину  
Намараны скрипучим школьным мелом  
Два слова: “Перегоним сатану!”  
Вот кстати! Грузовик остервенело  
Понёсся. Я нагнал остывший чай  
На следующей станции. Прощай,  
Острота ада!.. И душа запела  
О свежести, утраченной давно...*

Рассказ о городе детства не случайно завершается образом несущегося в будущее поезда и высоких дальних гор (“за прошлогодним снегом еду в горы”). Поэт навсегда простился с тихим южным городом, где скука и пошлость провинциальной повседневности съедают даже былую свежесть чувств и мимо которого подлинная жизнь проносится, как столичный экспресс, не останавливаясь.

Спустя два года молодой поэт возвращается к теме города в стихотворении “Отец космонавта” (1972). Если город детства остался городом первой любви и мощного разочарования, то в этом стихотворении речь идёт о государственной столице, которая не названа, но стала испытательным полигоном для сына безымянного старика — главного героя стихотворения. Спасская башня и стена Кремля — два символа могущественной столицы, ставшей могилой для отважного сына, пошедшего иным путём, не тем, что ходят обычные люди: “Он пошёл поперёк...” Очевидно, в космос, в небо, куда не дано попасть миллионам простых людей:

*Где же сына искать, ты ответь ему, Спасская башня!  
О медлительный звон! О торжественно-дивный язык!  
На великой Руси были, были сыны бесшабашней,  
Были, были отцы безутешней, чем этот старик.*

*Этот скорбный старик не к стене ли Кремля обратился,  
Где начертано имя пропавшего сына огнём:  
— Ты скажи, неужели он в этих стенах заблудился?  
— Он пошёл поперёк, ничего я не знаю о нём.*

Поэт приходит к мысли, что для того, чтобы покорить столицу, дойти до Кремля и Спасской башни, нужно заплатить чрезвычайно высокую цену, возможно, даже отдать жизнь, как это и случилось с сыном старика – сгоревшим космонавтом (“Где начертано имя пропавшего сына огнём”).

Ещё через два года Кузнецов в поэме “Четыреста” (1974) обращается к теме Крыма, места, в котором в войну погиб его отец. Керченский пролив, керченские огни, Сапун-гора в Крыму стали для него священными благодаря пролитой за них когда-то крови любимого отца:

*— Иди куда глаза глядят,  
Куда несёт порыв.  
— Мои глаза давно летят  
На Керченский пролив.*

*И подхватил его порыв  
До керченских огней.  
Упала тень через пролив,  
И он пошёл по ней...*

*— Ты слишком юн, а я стара,  
Господь тебя спаси.  
В Крыму стоит Сапун-гора,  
Ты у неё спроси.*

Юрий Кузнецов, никогда не забывавший, что он – сын офицера, служивший в армии на Кубе в эпоху Карибского кризиса, и в стихах часто ощущал себя поэтом-воином, былинным богатырём, часто в названиях стихов используя военную терминологию (“Бой в сетях”, “Неизвестный солдат”, “Хроника сталинградской битвы”), да и города ему вспоминаются чаще всего те, за которые в разные эпохи отечественной истории боролись с русичами иноземные войска: Москва, Сталинград, Керчь, Киев, Порт-Артур.

С 1975 года центром мира для поэта становится, судя по стихотворению “Выходя на дорогу, душа оглянулась...” (1975), столица тогдашнего советского государства:

*И в дыму от Москвы по Хвалынское море  
Загулял ты, как бледная смерть...  
Что ты, что ты узнал о родимом просторе,  
Чтобы так равнодушно смотреть?*

Но спустя три года, судя по стихотворению “Тегеранские сны” (1978) поэт, трепетно оберегающий родное, открывает вокруг себя вселенское – огромный, противоречивый, испещрённый давними конфликтами международный городской мир. И на смену провинциальным городам и становящейся родной столице приходит ощущение огромного мира, где северным развалинам противостоит коварный юг:

*Вдали от северных развалин  
Синь тегеранская горит.  
— Какая встреча, маршал Сталин! —  
Лукавый Черчилль говорит.*

Это противостояние: мирная Россия – враждебный Запад, обострившееся сегодня, поэт ощущал с годами всё острее. И в стихотворении “Солнце с запада всходит крестом...” (1979) поэт рисует картину виртуального противостояния конкретным, оставшимся в истории военным поражениям Российской империи (“Киев пал, русский флот не воскрес...”, “воздушные твердыни Порт-Артура”) скрытой пассионарной силы русского народа, воплощённой в этом поэтическом тексте в образе гонца в легендарный Муром, где тридцать лет ждёт своего часа на печи богатырь Илья Муромец, которому дано спасти Русскую землю от иноземных врагов:

*“Дранг нах Остен! — Адольф произнёс. —  
Перед нами отступит мороз.  
Мы стоим у шарнира эпохи.  
Голос крови превыше небес.  
Киев пал, русский флот не воскрес,  
И дела у Иосифа плохи!”  
На Москве белый камень парит,  
На Москве алый кипень горит,  
Под Москвой перекопы-заслоны.  
Слава родине, хата не в счёт!..  
Из железных кремлёвских ворот  
Вылетали железные звоны.  
Расходились ворота-врата.  
Кровь из носу, аллюр три креста!  
Из ворот молодецким аллюром  
Вылетал, словно месяц, гонец  
И скакал в непроезжий конец  
По забытой дороге на Муром.  
Он скакал, обгоняя рассвет,  
Три часа и три дня без ста лет...*

*...Схорони в бесконечном холме  
Ты своё непосильное чадо.  
И сокрой его имя в молве  
От чужого рыскающего взгляда.  
А не то из любого конца  
Растрясут его имя, как грушу.  
И драконы земного кольца  
Соберутся по русскую душу.  
Пусть тростинка ему запоёт  
Про дыхание спящего тура,  
Про печали Мазурских болот  
И воздушных твердынь Порт-Артура...*

И уже в 1983 году это виртуальное противостояние, обернувшись борьбой с иным, на этот раз восточным, азиатским врагом, завершается самым конкретным “Поединком” (1983), в котором нет победителей, так как оба его участника погибают:

*Противу Москвы и славянских кровей  
На полную грудь рокотал Челубей,  
Носясь среди мрака,  
И так заливался: — Мне равного нет!  
— Прости меня, Боже, — сказал Пересвет. —  
Он брешет, собака!  
Над русской славой кружит вороньё.  
Но память мою направляет копьё  
И зрит сквозь столетья.*

А значит, это ложный путь. Восток не может быть главным врагом России, её ждут иные опасности и искушения. Через год в стихах Кузнецова вновь появляется образ опасного врага-зверя. Это всё та же Европа, которую символизирует некий условный “Ганс” в эпизоде “Из сталинградской хроники. Комсомольское собрание” (1984 года). На этот раз южная Астрахань — явный союзник Москвы:

*... — Рус, сдавайся! Накинулся зверь...  
Комсомол не считает потерь,  
Ясный сокол ворон не считает!  
По неполной причине ушёл  
Даже тот, кто писал протокол...  
Тишина на тела оседает.  
Но в земле шевельнулись отцы,  
Из могил поднялись мертвецы  
По неполной причине ухода.  
Дед за внуком, за сыном отец,  
Ну, а там обнажился конец,  
Уходящий к началу народа.  
Вырвигоздь, оторвиголова,  
Слева Астрахань, справа Москва,  
Имена сквозь тела проступают...  
— Что за пропасть! Да сколько их тут!  
Неизвестно откуда растут.  
Ганс, назад! Пусть они заседают!..*

Спустя одиннадцать лет поэт возвращается к этому героическому эпизоду русской военной истории в батальной поэтической зарисовке “Из сталинградской хроники. Посвящение” (1995):

*Сотни бед или больше назад  
Я вошёл в твой огонь, Сталинград,  
И увидел священную битву.*

Драматические события 1991 года, развал Советского Союза в корне изменили отношение поэта к сердцу Москвы — тому знаковому месту, что воплощало её историческую силу и могущество. За древними стенами Кремля, по мнению Кузнецова, засели люди, явно враждебные всему русскому. Так появляется в 1992 году в стихотворении “Ловля русалки” (1992) страшноватый символический образ:

*Испокон с тобой дружат вода и земля,  
Мирно дышат зубчатые жабры Кремля.*

Спустя шесть лет поэт снова возвращается в свойственном ему парадоксальном ключе в стихотворении “Неизвестный солдат” (1998) к осмыслению того, чей гений места хранит ныне Александровский сад. И тогда “жабры Кремля”, дополненные “хвостом победного парада” из соседнего Александровского сада, рождают былинный образ какого-то страховодного дракона-чудища, оккупировавшего центр древней столицы, пользуясь тем, что Владимир-Солнышко остался “во глубине тысячелетий”:

*О, Родина! Как это странно,  
Что в Александровском саду  
Его могила безымянна  
И — у народа на виду.*

*Из Александровского сада  
Он выползает на твой свет.  
Как хвост победного парада,  
Влачит он свой кровавый след.*

*Во глубине тысячелетней  
Владимир-Солнышко встает,  
И знаменосец твой последний  
По Красной площади ползёт.*

В 90-е годы прошлого века поэт всё чаще задумывается над смыслом мировой истории. Миллениум, рубеж веков, который дано перешагнуть немногим, задолго до 2000 года волновал поэтов разных поколений. Ещё в 1965-м Корней Чуковский во время встречи на переделкинской даче сделал моему брату на своей книжке “От двух до пяти” памятную надпись: “Вспомни меня в двухтысячном году”.

В стихотворении “Погребение зерна” (1996), заставляющем вспомнить книгу Владислава Ходасевича, переизданную в те годы, “Путём зерна” (первое издание – 1920 год), Юрий Кузнецов вырывается на просторы мировой истории, в которой распадались и исчезали великие царства и огромные империи. Поэт пытался осмыслить то, что случилось с СССР – великой советской империей:

*Последний век идёт из века в век.  
Всё прах и гул, как и во время оно.  
— Не может быть! — воскликнул человек,  
Найдя зерно в гробнице фараона.*

*Он взял зерно — и сон зерна пред ним  
Во всю земную глубину распался.  
Прошли тысячелетия, как дым:  
Египет, Рим и все иные царства.*

Очевидно, именно в эти, 90-е годы прошлого века открывается поэту и единственный спасительный для России путь – возвращения к Православии, к христианству, к вере (не случайно две его последние поэмы посвящены Иисусу Христу). Именно так можно прочесть глубинную мысль поэта в стихотворении “Серафим” (1997), где на смену мировым столицам и московскому Кремлю приходит скромный город Саров, удостоившийся паломничества сотен тысяч россиян благодаря “убокому старцу” Серафиму:

*Души рассеянная даль,  
Судьбы раздёрганные звенья.  
Разбилась русская печаль  
О старый камень преткновенья.*

*Желает вольный человек  
Сосредоточиться для Бога,  
Но суждена ему навек  
О трёх концах одна дорога.*

*Песок и пыль летят в лицо,  
Бормочет он что ни попало.  
Святой молитвы колесо  
Стальные спицы растеряло.*

*А на распутье перед ним  
На камне подвига святого  
Стоит незримый Серафим —  
Убогий старец из Сарова.*

Перечитывая стихотворение “Предчувствие” (1998), мы понимаем: Кузнецов болезненно переживал равнодушие к бедам народа властителей, засевших за стенами древнего Кремля, нищету и растерянность миллионов, привыкших доверять власть имущим и готовых, чтобы выжить в потерявшей

чёткий курс стране, пуститься в опасное плавание по волнам коммерции без руля и без ветрил:

*Всё опасней в Москве, всё несчастней в глуши,  
Всюду рыщет нечистая сила.  
В морду первому встречному дал от души,  
И заныла рука, и заныла.  
Всё грозней небеса, всё темней облака.  
Ой, сказанная будет погода!  
К перемене погоды заныла рука,  
А душа — к перемене народа.*

Обман и разбой стали нормой в Москве, как во всём торговом, коммерческом, восточном мире, куда теперь нередко попадает доверчивый русский человек. В стихотворении 1998 года “Где-то в Токио или в Гонконге” (1998) хлебосольной Рязани противостоят насквозь лживые и коварные Токио и Гонконг:

*Я в тумане сижу среди белого дня,  
Даже ясные очи заволгли...  
Ободрали однажды, как липку, меня  
Где-то в Токио или в Гонконге....*

*Наливает чуток. Я молчу: не таков!  
Кап ещё, каждый кап с тормозами.  
— Не кичись, — говорю, — иль не видишь краёв?  
Наливай до краёв, как в Рязани.*

*На лицо оседает похмельный туман,  
Даже ясные очи заволгли...  
Ободрали однажды, как липку, меня,  
Где-то в Токио или в Гонконге.*

Поэт, завершая круг бытия, снова обращается к теме провинциального города в одном из предсмертных, 2003 года стихов — “Тамбовский волк”. Но если знакомый поэту с детства советский провинциальный город в стихотворении 1970 года сознательно обезличен — лишён названия, то спустя 30 лет Юрий Кузнецов, опираясь на высоко ценимую народную культуру (недаром поэт готовил к изданию и советовал перечитывать всем ученикам фундаментальную трёхтомную монографию фольклориста А. Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения”), на знаменитое народное присловье “Тамбовский волк тебе товарищ”, делает лирическим героем стихотворения жителя другого провинциального города — Тамбова, когда-то прогремевшего на всю Россию антоновским сопротивлением большевикам.

Да, напоминает поэт, как и десятилетия назад, в эпоху предыдущего цивилизационного слома русский человек из Тамбова совсем не готов бессловесно влиться в навязанный кем-то глобальный проект. Он вполне ещё способен на страшный ответный удар и может отстоять свою духовную и личную независимость. И именно это внушает уходящему в небытие поэту надежду на достойное будущее родной страны:

*России нет. Тот спился, тот убит,  
Тот молится и дьяволу, и Богу.  
Юродивый на паперти вопит:  
— Тамбовский волк выходит на дорогу!*

*Нет! Я не спился, дух мой не убит,  
И молится он истинному Богу.  
А между тем свеча в руке вопит:  
— Тамбовский волк выходит на дорогу!*



*Молитесь все, особенно враги,  
Молитесь все, но истинному Богу!  
Померкло солнце, не видать ни зги...  
Тамбовский волк выходит на дорогу.*

Итак, от чуть пародируемого, но вполне традиционного с чеховских времён противостояния скучно-сонного провинциального города с его остановившейся, утонувшей в повседневном бытии жизни и энергичной столицы поэт через десятилетия приходит к абсолютно иному конфликту: с одной стороны – захваченный враждебным народу властолюбивым чудищем Кремль (как символ столицы), с другой – огромная провинциальная Россия с её знаковыми городами – Саровом, освящённым именем великого святого, Муромом, помнящим былинного богатыря, и Тамбовом, доказавшим своё умение героически противостоять несправедливой, атеистической власти. Именно с них, мечтает поэт, и начнётся в своё время возрождение России подлинной.